

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ,  
ЧЛЕНА РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «БИЙСКИЙ ВЕСТНИК»  
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА КУРБАТОВА  
С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ –  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



**Валентин КУРБАТОВ**

**ЗДРАВСТВУЙ, ЗАВТРА!**

**В**от и нельзя, а улыбаюсь при чтении Канона утрени четвертка первой седмицы Великого Поста, услышав об апостолах, что они «заря воздержания» (прекрасно!), а там уж они и «лира духовно-вижимая», и «духа трубы Христовы» – и уже видишь, как матушка-поэзия начинает теснить простую мужественную правду апостольского делания. А вечером и вовсе смутишься, когда самогласен дне

призовет тебя «...греховный квас отымет покаянием..., украсим ноги сапогми, возбранительными от дела лукаваго». Тут уж думаешь, и сами апостолы уклонились бы от украшения себя «сапогми возбранительными».

Ах, литература, литература! Свет и искушение, спасение и смущение. Но там и тогда в высоком воздухе аскетике и духовного строительства она уравнивалась

Евангелием, долгим трудом молитвы, скудного быта и тяготами послушаний. А уж сегодня слово окончательно отлетает от плоти жизни и становится «слишком видно». Слово всё необратимее расстается с земной, телесной реальностью смысла, с райским садом, где мир был назван впервые, и всё было земля и небо, дерево и птица, вещь и дело.

Мы сами изгнали себя из рая цельности. Василий Осипович Ключевский намекал, что и Смутное время началось с того, что разошлись понятия государь и государство, свобода и воля, долг и право, что слова стали подменять реальность. И потом эти разрывы и Евангелием было не заживить.

А тут попадетсЯ на глаза «Охранная грамота» Пастернака (именно попадетсЯ, словно сама прыгнет в руки откуда-то, опять подтверждая, что, как только о чем-нибудь начинаешь думать всерьез, книги торопятся разделить с тобой мысль), и я читаю там, что вместо философии перед первой мировой войной явилась «странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения». «История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба».

Эх, думаешь, разве тогда всё обращалось в беллетристику, если работали И. Ильин и Г. Шпет, С. Франк и Н. Бердяев. Это уж от молодой требовательности и нетерпения могло сорваться. Но предчувствие наступления «беллетристики» было верно. Она еще «краслась», еще стыдилась себя, тем более время посуровело, и слово стало сильно и опасно, и литература еще возвращалась в живой

крепости и правде у Шолохова, Фадеева, Федина. Эренбурга, в сильной послеоттепельной прозе у Гладилина, Аксенова, Казакова, а там у мощных «деревенщиков», у Абрамова, Астафьева, Белова, Распутина, так что мы на время ободрились и поверили, что русское слово вернется в прежней цельности и спасительной силе. Но только на минуту, потому что при высоте и евангельском духе уже предчувствовалась нота прощания – «Последний поклон», «Последний срок», «Прощание с Матерой».

И сегодня мир в лучших сочинениях еще договаривает старые правды, досматривает прежние сны, разве что уже с иным чуть остранным вглядыванием, как выздоравливающий после болезни дивится вчера такому обычному, а сегодня словно омытому дню, торопя окончательное заживление реальности.

В горьких, порою страшных книгах (увидишь их в детской номинации и смутишься) Ольги Громовой «Сахарное дитя» и Нины Тетерской «В плену у блокадного детства» смущенно и утешно обрадуешься, что и посреди безумия истории растет живое прощающее человеческое сердце. На немислимых путях скитаний вполне нынешней старообрядческой семьи в «Повести и житии Даниила Терентьевича Зайцева» ХУШ век со своею ветхой лестовкой совершенно естественно живет, житийствует посреди ХХ-го и ХХI-го веков, не теряя и не роняя себя, опять доказывая, что в духовно правильном мире времени нет.

Договаривается эта правда и в старинно обстоятельных книгах среди которых, наверное, всех её читателей задела, почти смутила

своей живой старомодностью (опять времени нет) книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», начиная с простосердечного названия (почти как некогда всеобщезвестной, а нынче позабытой книги Тихона Сёмушкина «Али-тет уходит в горы») до предельно открытого доверчивого рассказа о судьбе молодой татарской женщины перед революцией и в пору самых тяжелых пореволюционных лет. Книжка отсылает нас к высокой советской классике, как будто навсегда утраченной, а вот счастливо возвращенной, словно книга была до времени потеряна, забыта на чердаке, а вот теперь нечаянно счастливо возвращена, не повредив во времени ни страницы.

Кажется, и сама матушка-история ищет возвращения, но уже не узнаёт себя, потому что *не возвращается, а воскрешается*, как «четверодневный Лазарь»: «Лазаре, гряди вон!» Да только разве Лазарь встал тот же, что «ушел», оплаканный Марфой и Марией четыре дня назад? Он узнал что-то последнее в своей важности и вышел в новую дорогу. Так и мы после прочтения этих оглядчивых книг воскрешали небывшее, словно видели историю, преображенную, очищенную смертью для более разумной жизни и, боюсь, мы теперь не сможем написать единого учебника истории, потому что она уже побывала художественным текстом, который всегда убедительнее факта.

Живут еще, конечно, как во всякое время, и книги «как ни в чем не бывало», словно история писана не про них. Их все побранивают, зовут «второстепенными», как некогда Слепцова, Эртеля, Терпигорева-Атаву, Златовратского, а они между тем просто *почва*, без

которой гениям неоткуда было бы взяться.

Так Евгений Максимов пишет «Приключения Славки Шукина», словно носовский «Витя Малеев» вышел вчера, и ему надо бы подыскать товарища по школе и улице, чтобы не скучал. Так писаны «Старый рояль» Александры Житинской, «Мужской день» Бориса Минаева, «Предчувствие любви» Ирины Дружаевой. Выгорят на летнем дачном солнце, пока читаешь, обложки, и не отличишь от прозы 60-х, 70-х. И это не укор, а только радость, что мир не везде торопится переодеться в броское платье непрременной новизны, понимая, что на старых путях таятся живые чудеса.

Но уже не спрячешься от жестокой опустошенности времени. И вон, в детской же номинации, явятся «Рассказы бывшего детдомовца» Леонида Фролова, писанные не в дали «злой советской истории», а прямо сегодня. Но их уже читателям толстовского «Детства» не покажешь, потому что там будут «мокрошелки», «гребаный бизнес», вокзальные проститутки и много страшного «опыта века сего», так что сердце сожмется, и поймаешь себя на мысли, что, может, наша детская-то номинация не для детей и создана, а чтобы бабюшка-государство и матушка-политика отшатнулись, поняли, что они наделали со своими детьми, и начали что-то поправлять.

А что эти больные книги о нынешнем детстве не случайность, не «ошибка» отборочной комиссии, скажет роман Анастасии Ермаковой «Пластилин», где опять детский дом – невыносимая, добрая, злая, печальная любящая жизнь в срывах, пьянстве, проституции, во всей своей агрессивной низости, не перекрываемой высотой нашего

самообмана, которой бы хотелось не знать, но которая от твоих закрытых глаз не перестанет существовать.

Разный выходит портрет времени. И, увы, чаще неприятный, но уж каковы есть, таков и портрет: Поотражаемся...

«Когда на человечество наступил двадцать первый век, на земле начало твориться что-то жуткое. Слушать новости стало страшно; все потихоньку привыкли к сводкам катастроф, спискам жертв, сметам на возрождение невозвратного. Где не сгорело, там утонуло, кто не разбился, того задавило. Количество гляцевых эротических журналов превысило предельно допустимую концентрацию... Люди переделались, но забыли сменить выражение лиц, и оно осталось, так сказать, невежливым...» (Е. Черникова, «Зачем?»)

«Появились наркоманы, колбаса, книги, лифчики, заказные убийства, доллары, страх, решетки на окнах и парадные на ключах, СПИД и компьютеры. Исчезли зарплата, пафос, чистота, бескорыстие, скромность и волосы на женских ногах» (А. Матвеева «Подожди, я умру и приду»).

«С детства мы учились на отвратных примерах, на террористических романах или выискивали негативное в нормальных произведениях. Мы учились без Бога, и нам было хорошо. И в душе у нас всегда жило сомнение, что люди могут быть добрыми, бескорыстными, смелыми и преданными... Мы не можем нормально жить, мы привыкли разрушать. А земное – жена, дети и добрые дела – нас почему-то не греет и кажется бессмысленным. (Ф. Нагил «Земные одежды»).

И уж как совершенная формула поколения: «Мир стал невинен. Мир стал юн. Все пофиг. Перезагрузка с потерей всех сохраненных данных» (М. Кучерская, «Тётя Мотя»). «Перезагрузка» для возможности с «обаятельным цинизмом» ни за что не отвечать.

Таковы эти «жанровые картинки» времени, нынешнее «передвижничество». А можно поглядеть в литературе и портреты поколения. Там в детских домах готовят мальчиков для «голубых» олигархов. Там сорокалетние «пропащие люди», секс без разбора, пьянство и безысходность. Там «чморят лохов» и делят госбюджет, как «общак» (не стану обозначать кавычек – язык стал обыденным), там рядовые граждане «связки позорные», там жизнь «по понятиям», там можно прочесть, как у М. Кантора в его «Красном свете» о Солженицыне: «Не выгорело у фраера. Послали топтать зону. А фраер откинулся, огреб бабла и схарчил советскую идеологию» (компьютер исподчеркивался, не находя в своей памяти этих слов – привыкай, тебе все чаще придется слышать это).

И вот тут уже не про «наступление беллетристики» приходит пора говорить, а про её всемирный потоп – «наступает не календарный, настоящий XXI-й век».

Культура вступает с цивилизацией в лесбийские отношения – обе стали гламурны, развратны, громки, стали жить «напоказ» и демонстрировать «стильность». И тонкость. Там, в этом зеркале, чиновники безнаказанно наглы, журналы продажны. Там принципиального человека съедят и не подавятся, если он не примет бластных правил игры, и заставят уйти в бомжи, спиться. Подлинно, как

отозвалась о наших днях великая белоруска Светлана Алексиевич «Время секунд хэнд». Бедные писатели – медиумы безвременья.

Можно было бы закричать от гнева, уйти в партизаны, обрадоваться, что такой мощный отряд литераторов видит мир насквозь, не дает ему вывернуться и провести нас, менее зорких. А только однажды вдруг с подозрением обнаруживаешь, что мерзость-то мира для прозаиков уже «товар», что осветись мир и спасись человек, так они, пожалуй, и озлятся. Они «подсели» на зло, как наркоманы на иглу.

Я дочитываю книжку Анны Никольской «Валя off line» и вдруг понимаю, что не хочу жить, потому что это уже какая-то другая параллельная, необратимо другая жизнь, где все мое прошлое (**наше** прошлое – все эти революции, войны, целина, космос, Куба, победы и страдания) не нужно, а нужны деньги, мерседесы, успех, «ты этого достойна». А повесть-то о том, как 13-летняя девочка мечтает о ресницах, макияже, Америке и стыдится матери, ее бедного мира и надеется как-то согласить в душе и мать, и Англию, и желанную домработницу, и Кембридж, то есть немножко предать и вчера и сегодня. Одна ли такая Валя? Реальнее ли и прочнее ли мир героев Марии Ряховской «Записки одной курехи» с ее фанатами и фанатками Цоя, БГ, Башлачева, Кинчева? Тоже ведь целое поколение, которое Л. Аннинский зовет в предисловии «освободившимся от Советов» и славит простор, в который они вышли. Да только не пустыня ли этот простор, где и деревня, куда их сплавливают на лето, поворачивается к ним не живой болью и светом, а распадом, пьянством,

воровством, на фоне которого, конечно, затоскуешь по Цою, изнеженной эстетике БГ или декоративному сопротивлению Кинчева.

Дочитываю Платона Беседина, заглядываю по дороге в Веру Нарбикову и Александра Геласимова, вспоминаю чтение прошлых лет и останавливаюсь перед другой особенностью молодой литературы: она предпочитает раздеваться до пояса снизу.

Явилась всеобщая подворотня, не просто требующая себе места, а корящая прошлую литературу за «фарисейское целомудрие»: чего же вы нам главного-то не говорили? И вот образчик «романтического» чувства: «Рада! Моя Рада! Мог ли я допустить, когда ты танцевала со мной под «Spice girls» в «Старом замке», а я, оцепенев пялился на тебя, что когда-нибудь буду делать с тобой такое? Сильнее возбуждения благодарность тебе. И твоей руке на моей ширинке. Расстегивает пуговицу, тянет молнию вниз. Ей бы меня этому научить. Ведь, Аристотель, сука, такого не напишет. И Платон, मुदा, будет тереть о другом. А главное, вот оно – как, ловко спустив штаны, заполучить пульт управления». (Бедные Платон и Аристотель, не знали, что «главное-то, вот оно» – «рука на ширинке», а знали бы, глядишь и не приговаривались к изгнанию, как Аристотель или к смерти, как Платон).

Наверно, да даже и действительно эти нынешние «открытия» и тонкости чувствований – правда, но отчего же душа, защищаясь, шепчет: «Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены?» И уже не жалко новых потерянных или только теряющихся себя молодых героев, и не радостно за зорких авторов, умеющих

написать эту тоскующую бедность с ловкостью и мастерством, потому что они расхищают твою жизнь, и ты выходишь из книги беднее, чем вошел в нее, и порой торопишься мстительно закрыть, не дочитав, чтобы уберечь остатки души и веры в человека.

Художники стали ироничны и злы, словно каждый маркиз де Кюстин и проездом в России. Любить человека стало «не модно», да и жизнь тоже. За что ее любить – такую ущербную, мелкую, потребительно-жалкую? И нет-нет начинает мерещиться, что вся проза пишется, как фотография «в цифре» – ярко и сиюминутно, не веря в существование завтрашнего дня. Да еще и обрабатывается в «фотошопе» – контраст, яркость, обрезка сюжетов. Герои умны, всезнающи, игривы по отношению к жизни. Но все время чувствуешь, что они этим умом и блеском норовят закрыть от себя какую-то отчетливую пустоту и живут все время чуть наружу с тайной уверенностью, что всех их «кинут» и потому все мотивации «лишь фантики, обертки от дешевых ирисок», как пишет Андрей Геласимов, уверенный, что «все мы части какого-то текста», а не земной твердой жизни. И таковы все мы, дети законов, «писанных на коленке» (Олег Рябов), отравленные воздухом постоянного преступления и сомнения «твоя ли это страна», съеденные демоном пустоты.

Вот-вот станет общим местом разговор о «перепроизводстве литературы». Это как-то соглашается в нашем сознании – читают всё меньше, а книг всё больше. И слово становится предметом насилия, за некого некому заступиться (хоть создавай Комитет по защите прав слова). Его используют как дешевую рабочую силу, и оно

теряет достоинство. И герой Павла Крусанова из романа «Американская дырка» может спокойно сказать, что «культура, традиция, долг – это всё попсня», потому что время зовет за «жирной новизной». В том числе и за жирной интеллектуальной новизной. Евгений Попов покажет свой первый интернет-роман, провоцируя «посетителя» (не читателя же) в своем блоге нарочито раздражающим текстом, а потом выставя этого посетителя в дураки.

А Дмитрий Бавильский отыщет в «живом журнале» «заговор против власти» и попытается проникнуть в «логово» сетевого переворота («Ангелы на первом месте»), и тут герой Крусанова, уставший от «попсни традиции», спросит нас напрямую, когда же мы, в конце концов, перестанем путаться под ногами вместе с раздражающей кутерьмой наших мелких смешных проблем, чтобы, наконец, стремительно расширяющийся виртуал полностью слился с реальностью, так чтобы уже невозможно отличить одно от другого». Следствием явятся роман-фьюжны. («Москва-ква-ква» В. Аксенова), роман-квесты («Квартал» Д. Быкова), арт-романы (М. Палей «Клеменс»), роман-центоны («Воскресенье в третьем Риме» В. Микушевича), где мир есть только повод к тексту (прав Геласимов: мы давно только часть текста, поспешного слова, которое используется до того, как вспомнит свое Господне значение), а жизнь уже не жизнь, а «омонинмы, кальки, анаграммы и иной лингвистический реквизит».

Не мудрено, что в этом подменном полувиртуальном пространстве, как пишет товарищ Крусанова по питерской прозе Андрей

Столярю, «Люди давно махнули на все рукой. Им теперь все до лампочки: кто, что, зачем, почему? Мы превращаемся в рыхлую неопределенную массу. Мы объелись политикой, обещаниями, проектами, проповедями. Мы хотим одного, чтобы все они куда-нибудь провалились». Так бы и продолжил А.И. Герценом, свидетельствующим в похожий час истории: «постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустоту интересов, отсутствие энергии... всё ясно мельчает, делается дюжиннее, пошлее. Посмотрите – душа убывает...»

Нет, хватит. Иначе не остано-вишься и только умножишь пере-производство слов. Уже и по при-веденным примерам, равно строго-го и игрового свойства, видно, как в сущности полегчала жизнь и всё отчетливее сознаётся, что отсут-ствие большого дела автоматиче-ски приводит к отсутствию боль-шого стиля, заставляя художников прятаться в садах слова. Да ведь только за один язык, даже и такой богатый, как русский, без родного неба не удержишься – он начнет выстывать до театра, где всё, как в жизни, но никак не забудешь рам-пы и искусственного освещения.

«Мысленный волк» межвре-меня расставляет сети игры, об-манчивой свободы и эстетических забав, чью опасность так знали юноши прошлого, «пытающиеся вопрос разрешить», которые бежа-ли внешней красоты, предпочитая ангела этики дьяволу эстетики.

Одессит Борис Херсонский, на-глядевшись, как «очередную эпо-

ху считают дворники с мостовых, опять листовки расклеены поверх театральных афиш», посмеивает-ся: «Русская проза – это собрание карикатур на фоне прекрасных пейзажей». Карикатур – да, но где он нашел прекрасные пейзажи? Мы все давно дети города и слова, а не неба и смысла. Обстоятельный пейзаж ушел с «обстоятельной» жизнью. А уж чтобы дождать-ся прямого открытого признания в любви к Родине («О, Русь моя! Жена моя!»), так и представить нельзя.

Я нарочно (не от слепоты) не говорю о редких книгах «кротких списков», хотя даже и нашей «Яс-ной Поляны» возьми лауреатов и потом посмей продолжать о сле-поте – что же ты, брат? Как же ты сам-то голосуешь при утвержде-нии «короткого списка»?

А только человек-то живет в «длинном списке» и может в жиз-ни не дочитать до «короткого».

Да и свою-то досаду как прео-долеть, свой-то «длинный список» не выговорить и хоть тем утолить раздражение и усталость?

Когда еще я украшусь «сапог-ми, возбранительными от дела лукаваго»? и когда еще следом за Львом Николаевичем научусь та-чать эти «возбранительные сапо-ги». А между тем уходит, расточа-ется неодошевленным словом твоя единственная жизнь.

И как взглядишься в свое старе-ющее сердце, там все та же веко-вечная тревога: Русь, куда ты не-сешься?

И у кого спросить об этом, как не у русской литературы?